Яков Минченков

Богданов Иван Петрович

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«…Он был небольшого роста, крепкого телосложения, точно налит свинцом: лицо его выражало деловитость, озабоченность, какая бывает у врачей или бухгалтеров, но не имело ярко выраженных черт, было довольно прозаично и не останавливало на себе особого внимания. Из-под широких полей мягкой шляпы виднелись густые усы и борода клином.

На нем было пальто по сезону, а в руках толстая сучковатая палка. Походка была твердая, быстрая, решительная. Постукивая на ходу своей увесистой дубинкой, человек этот мало уделял внимания своей улице и тупику. Ему были известны все подробности этих мест, характер населения, его труд, привычки и разные недочеты, потому что он родился и вырос в таких же местах, в среде ремесленников…»

- Яков Данилович Минченков
-
- Примечания

Яков Данилович Минченков
Богданов Иван Петрович

Улица оканчивалась тупиком, в конце его дома стояли на одной только стороне, на другой высился длинный скучный забор, за которым во много рядов тянулись запасные пути какой-то железной дороги. За ними шли пустыри, места для свалки мусора, а еще дальше виднелась серая опушка мелкого леса.

Однообразие, с вылинявшей окраской, двухэтажные домишки тупика были набиты окраинной беднотой.

Тут жили мелкие ремесленники, прачки, старьевщики, рабочие и железнодорожные служащие низшей категории.

Оттого, что из тупика не было ни проезда, ни прохода на другие улицы, не было в нем почти никакого движения.

Сюда никогда не заезжал в своем экипаже знатный барин, не дребезжала здесь даже разбитая извозчичья пролетка; на узких каменных тротуарах с редкими тумбами по бокам лишь изредка появлялись обитатели этих, похожих, как один, домов тупика: лудильщик тащил за одно ухо старый, позеленевший самовар; бледная прачка, согнувшись, несла на спине большой узел грязного белья; бежал из трактира мальчик-подмастерье с бутылкой водки или с кипятком в большом жестяном чайнике для своего хозяина; устало брел кондуктор с товарного поезда, покачивая у самой земли фонарем с зеленым стеклышком.

Редкие пешеходы проходили, и улица снова пустела.

Только когда кончалось лето и осенний резвый ветер переносился через пустыри в тупик, сюда набегали мальчишки с других улиц, и в небе начинал вилять мочальным рваным хвостом бумажный змей с трещоткой. Мальчишки потом садились под забор, резались в орлянку и учились сквернословить.

В большинстве своих дней и часов тупик хранил тишину.

Сюда неслись лишь чужие звуки со стороны: гудки бегущих мимо поездов, жалостный хрип шарманки с соседней улицы или звон колоколов в праздники.

Здесь не происходило ничего значительного, что могло бы сильно взволновать население и привести его в действие. События происходили мелкие, обыденные, всем известные и надоевшие. В праздник подвыпивший мастеровой ни с того, ни с сего начнет трепать свою жену, сбегутся соседки, отобьют жертву, посудачат и разойдутся по квартирам. На рассвете вдруг раздастся громкий стук в дверь и послышится сердитый голос: «Кого там черт носит спозаранку?» А потом: «Это, никак, ты,

Савелов? С двадцать вторым – значит, без опоздания вернулся?» Кондуктора впустят, и опять все сонно замолкнет.

Место это не было городской трущобой с ее ужасами. Здесь не встречалось отчаянной нищеты с голодовкой, потому что обитатели домов все-же имели заработок и питались, по их словам, тем, что бог послал.

Тупик не выносил людей без всякого дела и преступников. Бездельникам нечего было получить от рабочей бедноты, а преступники не на шли бы здесь сообщников и укрывателей. Даже безнадежный пьяница не заручился бы здесь постоянным собутыльником. Весь этот не подходящий для тупика с его трудовым населением элемент выбрасывался отсюда и переходил на Хитров рынок и другие подобные места.

Здесь не было места зверскому преступлению и чудовищному пороку, как и светлой добродетели, хотя бы мещанского склада; не было веры и безверия, безысходной тоски и неудержимой радости; не было протеста – а только примирение и привычка: примирение со своей беспросветной жизнью, бедностью и постылым трудом, привычка терпеливо переносить все, что ни свалилось бы на голову обездоленного человека.

Обитатели серых домов знали, что они живут в Москве, что в ней есть Иверская божья матерь, трактиры, в которых гудят заводные машины, полицейские участки, где надо прописываться и откупаться за малые провинности, а дальше им почти ничего не было известно о городе.

Они ничего не читали, хотя в большинстве были грамотными, никогда не бывали в театрах, в каком-либо музее или на выставке.

Женщины, до полуночи укачивающие своих раскричавшихся больных детишек, не знали, что в Дворянском собрании сейчас идет концерт знаменитого скрипача, что его забрасывают цветами барыни, лакеи которых дремлют в раздевальной с барскими шубами на руках. Не знали, что Щукинский музей обогатился новой картиной Сезанна, что идет спор о декадентстве и передвижников бранят за их тенденциозность, за старые песни о бедности и угнетенных.

Не слыхали они ничего о конституции, которой добиваются некоторые люди, не доходили до них и слухи о требованиях и борьбе людей из подполья.

Не знали обо всем этом тупиковцы, потому что не были связаны с организованной рабочей средой и не интересовались барскими делами. Только полотеры, бывавшие в барских комнатах, рассказывали им иногда о жизни другой породы людей.

Это тупиковское царство проведывал иногда захудалый городовой; зевая, смотрел на бесцветные домишки как бы с вопросом: «Вы еще живете здесь?», а потом, во исполнение своего долга, грозил пальцем ребятишкам у забора, наставительно добавляя: «Смотрите, чтоб здесь не того!..»

Но ребята сами знали, что здесь не будет ни того, ни другого, что здесь тупик и навсегда скучно, скучно.

Однако и в этих местах появлялся человек, не похожий на тупиковцев по своему костюму и манерам и потому выделявшийся из общей массы тупиковского люда.

Он был небольшого роста, крепкого телосложения, точно налит свинцом: лицо его выражало деловитость, озабоченность, какая бывает у врачей или бухгалтеров, но не имело ярко выраженных черт, было довольно прозаично и не останавливало на себе особого внимания. Из-под широких полей мягкой шляпы виднелись густые усы и борода клином.

На нем было пальто по сезону, а в руках толстая сучковатая палка. Походка была твердая, быстрая, решительная. Постукивая на ходу своей увесистой дубинкой, человек этот мало уделял внимания своей улице и тупику. Ему были известны все подробности этих мест, характер населения, его труд, привычки и разные недочеты, потому что он родился и вырос в таких же местах, в среде ремесленников, изготовлявших дешевые серебряные обручальные кольца и крестики для новорожденных.

Выйдя в люди, он снял здесь квартиру во втором этаже и жил в ней уже двадцатый год.

Внешний вид этого человека, его манеры и разговор заставляли предполагать, что занятия его были иными, чем у остальных обитателей тупика. И действительно так, потому что человек этот, часто носивший с собой полированный ящик с красками и кистями, был художником-передвижником по фамилии Богданов, Иван Петрович.

По скрипучей деревянной лестнице он вбегал во второй этаж, ворчал на беспорядки, которые замечал по дороге: «Опять залили лестницу, никак не привыкнут люди к порядку!»

И действительно, в коридоре и на лестнице почти всегда был беспорядок. Валялись поленья дров, ненужные жестянки, в куче невыметенного сора торчал общипанный веник. Против дверей квартир были чуланчики и уборные. Несло запахом кислой капусты и другими ароматами старого, насиженного жилья.

Если Иван Петрович встречал в коридорчике соседок, то непременно читал им нравоучение:

– Сто раз говорил я вам: давайте порядок наводить, чтоб чисто было, и кто кошек водит, тот наблюдал бы за ними.

Поймите же, наконец, что это негигиенично, вредно, от этого болезни заводятся!

Соседки спорили:

– Какой тут порядок будет, когда очередей не соблюдают. Спроси – кому сегодня лестницу мыть? Никто не признается.

Богданов, досадливо махнув рукой, подходил к своей двери, обитой войлоком и рваной клеенкой, большим ключом отпирал тяжелый замок и войдя в свою квартиру, начинал свой трудовой день.

Квартира Богданова состояла из трех комнат, вернее – трех отделений одной комнаты. В первом отделении – передней – была большая русская печь, второе отделение, в одно окно, служило столовой и было такой ширины, что распростертыми руками можно было коснуться обеих противоположных стен. Здесь едва вмещались стол, сундук и два стула. В самой большой комнате, в два окна, стояли старый диван со сломанной ножкой, обитый дешевым ситчиком, стол с книгами и ящиком для красок и кистей. Посреди комнаты – мольберт, перед ним стул. По стенам были прибиты этюды и висело несколько картин. Спал Богданов на диване, подставляя пустой ящик на место сломанной ножки.

Если в квартире собиралось четыре человека и одному не хватало сиденья, то хозяин усаживался на толстом обрубке дерева, служившем в этом случае дополнением к мебели.

Квартирой своей Иван Петрович был доволен и основательно доказывал ее превосходные стороны.

– Скажи, пожалуйста, где ты найдешь такую квартиру: печь, например, – пять поленьев брось, и весь день тепло, хоть в какой мороз! Сухо, ревматизма, будь покоен никогда не наживешь. Из окон прямо небо, ничто не закрывает света, к вечеру на стене даже лучи солнца догорают, как на картине Жуковского. Ну, пейзаж – не пейзаж, а на горизонте маячат деревца, и можно тучи наблюдать. Опять-таки цена: пятнадцать целковых за все удобства! Найдешь ты за такие деньги хоть комнату в другом месте?

Богданов жил не один: разойдясь с женой, он оставил у себя сына, который учился в начальной школе. К нему отец проявлял исключительную заботу, свойственную скорее матери. Он следил за здоровьем сына, за его питанием и учением.

Утром Иван Петрович грел на керосинке большой жестяной чайник, поил сына чаем, отправлял его в школу и, принеся из лавочки продуктов, готовил обед на несколько дней сразу. Меню было самое простое: щи с мясом, гречневая каша с молоком; вечером – чай с ситным хлебом и иногда с колбасой.

Питанием, как и квартирой, Богданов также был доволен. Если он зазывал меня к себе, чтобы показать свою работу, то за вечерним чаем хвастал своей закуской:

– Посмотри, каков хлеб в нашем захолустье: не хуже, брат, чуевского! А колбаса? В Охотном ряду не везде такую найдешь! Вот то-то и оно!

Надевал очки и громадными щипцами колол сахар на мелкие кусочки, так как пил вприкуску. Сахар не хвалил потому только, что он был везде одинаков.

Угощая чаем, он говорил:

– Смотри – как знаешь, а то выпил бы еще; насчет кипятка не беспокойся, у меня керосинка лихая, за пять минут – во какой чайник закипает!

Конечно, не одни прелести тупика заставляли Богданова жить в нем. Он знал цену деньгам, на себе испытал, каким трудом достаются они мелкому ремесленнику и начинающему художнику, а потому, стараясь быть во всем экономным, берег всякую заработанную копейку, чтобы быть более свободным для искусства и не гоняться за заказами. Он не видел комфорта с детства и оттого легко мирился со всеми недостатками своего быта.

Упорным трудом и настойчивостью добивался овладения техникой искусства. Учился в Московском училище живописи, где наибольшее влияние на него оказал как преподаватель В. Маковский.

По окончании Училища Богданов помогал Маковскому писать заказные образа для церкви в Борках. Заработав на этом деле некоторую сумму, он положил деньги на сберегательную книжку и, приумножая свой «капитал» случайными заработками, мог вести жизнь в тупике, не выходя из свого бюджета и не впадая в крайнюю нужду. По предложению своего учителя Иван Петрович был принят в члены Товарищества передвижников, и две его картины Третьяков приобрел в свою галерею.

Как и большинство передвижников его времени, Богданов смотрел на искусство, как на средство проведения идей, выдвинутых передовым обществом в эпоху народничества. Он тоже хотел вести проповедь, поучать и вызывать сострадание к угнетенным и обездоленным.

Однако передовым передвижникам темы давала большая общественная жизнь с ее крупными запросами. Они вращались в различных слоях общества, имели общение с большими людьми из круга деятелей науки и искусства, много наблюдали и со многим знакомились по литературе – словом, плавали в широком житейском море. Их талант, образованность и мастерство давали

им возможность воплощать в прекрасных формах свои замыслы.

Богданову жизнь отвела малый уголок для наблюдений и для творчества. С детства его умственный кругозор замыкался тесным кольцом мелкоремесленнических представлений. Он наблюдал и впитывал в себя лишь содержание среды, в которой рос и из которой долго не мог выбиться.

Его чувство и воображение питались лишь такими происшествиями, как пожары. Неподалеку от его дома была пожарная каланча, и как только заслышит он сигнальный звонок или увидит пожарные знаки на каланче, сейчас же выбегает на улицу и, не отставая от пожарного обоза, мчится к месту пожара.

Пожары выводили его из однообразия скучной жизни, давали ему переживания, иногда сильно захватывающие.

Быть может, на пожаре и залетела к нему искорка, осветила его душевные потемки и потянула к образам, к искусству.

Как во время школьной жизни, так и по выходе из нее он не попал в круг людей с большими запросами. Свое мировоззрение складывал сам, своим трезвым умом, по-простецки.

Для вопросов социального порядка у него был лозунг: бога нет, а царь жулик. Правильным решением было, по его мнению, землю отдать крестьянам, а фабрики и заводы – рабочим. Но при таких радикальных выводах он не вступал в борьбу и не вел других к этой цели своим искусством. Точно пропитанный настроениями окружающих его тупиковцев, Богданов примирялся с действительностью и, ограничиваясь фиксированием фактов, не делал решительных выводов.

Он поучал народ со своего невысокого места, не открывая ему широких горизонтов.

И язык его художественной проповеди был очень простой, сухой и для большинства скучный. В нем не было силы и красоты; краски на его картинах серые и тусклые, как окраска тупиковских домов, смытая непогодой. Но и такой, малый по нашему представлению, художник-передвижник жил верою и великой любовью к искусству, защищая тлевшую в нем маленькую искру искусства от житейских невзгод и нападок.

По приглашению Ивана Петровича мы, трое его друзей, пришли к нему в гости, чтобы, по его выражению, так себе поболтать кое о чем по искусству и посудачить над кем надо. После чая с восхваляемыми колбасой и ситным хлебом перешли в мастерскую Богданова. Он уселся на свой обрубок дерева и поворачивался то к одному, то к другому собеседнику.

Обстановка Богданова, ее убожество, признаться, немного удручали нас, мы чувствовали себя точно чем-то связанными, и не сразу налаживалась теплая беседа.

Товарищ Д., большой спорщик и горячий человек, не утерпел и обратился к Ивану Петровичу:

– Послушай, вот шут занес тебя в эти дебри, прожил в них долго, пора бы ему теперь и вынести тебя отсюда. Ну чего сидишь на этом обрубке, как припаянный?

Иван Петрович удивился.

– То есть – почему я живу здесь? Так я же вам не раз говорил: дешево, светло и вот еще что – тихо. Тут не так, как в номерах, где звонки трещат без остановки, рядом граммофон шипит и коридорные, как угорелые, мечутся. А то и на квартире в каком-нибудь переулке, где день и ночь под окном железо возят. Гул, лязг, лампа на столе дребезжит. Тут, брат, всякая идея из головы выскочит! А у меня вот тихо и спокойно. Семафор, вишь где? И там только паровозы гудки дают. Извозчики сюда даже не заглядывают, и разве в праздник выпьет мастеровой и учинит драку. Здесь даже не поют. Принес я раз прачкам белье, говорю им: «Почему вы не поете песни, стираете молча?» – «А что петь-то? – отвечают они. – Деревенское позабыли, а городскому не научились».

Богданов многозначительно поднял палец:

– Понимаете? Одно забыли, другому не научились, от одних отошли, а к другим, фабричным, голосистым, тоже не пристали, да так и остались в тупике безо всего, как бы сказать, духовного. День и ночь паром дышат, руки натерли и больше ничего.

Мало-помалу разговор перешел на искусство, и тогда словно раздвинулись стены этой тесной комнаты и обозначились заманчивые дали, к которым каждый из нас искал своего пути.

Страстный поборник всего нового в искусстве, горячий Д. призывал отказаться от всех лозунгов передвижничества и идти по новому пути, отвечающему требованиям современного общества. Досталось тут и Богданову за его узкую мораль и отсталость в технике.

А Иван Петрович точно ждал нападок, чтобы самому перейти в контратаку для защиты и оправдания своих слабостей. Он вскочил со своего пенька и, для убедительности потрясая крепким кулаком, начал выкрикивать высоким голосом:

– Вы говорите, что нельзя бесконечно повторяться, что таблицу умножения все знают, что общество ушло вперед в своих требованиях. Ну да, это так, конечно, – прогресс, культура, что и говорить, а вот, сударь мои, вы забываете, однако, где вы сейчас сидите. А сидите вы вот здесь, в тупике, где я со своими красками и палитрой пребываю. Так вот, выйдите вы в коридор, вызовите соседку бабу и спросите у нее: сколько будет два да два? Она ответит – четыре, а на вопрос, чему равняется два, помноженное

на два, – она глаза выпучит. Когда же заикнетесь о семью восемь, то она пошлет вас к идолам. Так вот и скажите: должны мы ей и ей подобным говорить, что дважды два – четыре?

Вы ушли вперед, а массу – повели за собой?

Вы в искусстве начали дробиться уже на бесконечное число кружков и смакуете одну лишь красоту или упиваетесь только женскими прелестями, ищете ключей счастья уже под дамской кроватью, как на одной из картин у сверхэстетов.

Вам наша идеология, мораль надоела, и вот что придумали вы вместо нее!

И что это за современное общество, позвольте вас спросить? Какой процент живущих вообще людей? Так вот, если эта кучка действительно выросла, то тупики, улицы и даже девяносто процентов всей страны остались в прежнем положении и ни до чего еще не доросли.

Богданов не позволял себя останавливать в речи, подносил иногда перст ко лбу, как бы добывая оттуда новые мысли, и продолжал:

– Вам надоел поротый мужичок, для которого некоторые передвижники просили конституции. Правда, на кой леший мужичонку царская конституция, когда ему земля нужна, а для этого прежде всего нужна хорошая дубина, чтоб согнать с земли дармоедов, а потом и повыше добраться. Только дубину нельзя изображать; ну что же, кто из догадливых посмотрит на порку и тому подобные прелести, – сам о ней заговорит.

Вам надоело просить у общества подачку мужику да мастеровому, так вы сами себе подачку вымаливаете: «Вот, мол, мы негожие и недюжие, пожертвуйте на опустошенные души наши!»

Жалостные картинки пишете: то «грусть унылой печали», то «унылую печаль тихой грусти». Переставляете в картинах одно и то же дерево справа налево. Прошибете слезу у сентиментальной барыньки, от которой возлюбленный сбежал, купит она вашу картинку, ну вы к другой подкатываетесь с такой же.

А до человека вам – что! Дела никакого нет.

Вы о звании этом вспоминаете, только когда в трактире кричите: «Человек, подай бутылку коньяка!»

Ох, и облагородились же вы! В цилиндрах похаживаете, княгиням ручки целуете! Ну, конечно, до мужиков ли вам теперь дело!

Вот только когда соберетесь вместе, да еще со старыми передвижниками, от которых отстранились, то начинаете кутаться в гражданские покровы от Чернышевского и резолюции строчить, чтобы мужичков не драли. А я говорю, что без дубины

не обойдется, да еще нужно просвещение. Надо и теперь поучать, что дважды два четыре, потому что многие и этого не знают.

А узнают себя ж поймут – тогда и потребуют себе всех прав человеческих, сбросят всех, кто сидит у них на шее.

Ох, тогда влетит и вашему брату за дамские аксессуары! Ослиными хвостами не отмахнетесь!

И залился Иван Петрович безобидным звонким хохотом.

Начали говорить о форме в искусстве, технике, красках в живописи и обо всем, чему придавалось особое значение в последнее время и чего главным образом не хватало у Богданова.

И на это у него было свое оправдание:

– Вы говорите о мастерстве, красоте формы, ну, что же – это дело великое, оно бывает у людей как наследственное и еще как благоприобретенное при чуткой натуре или даже точно невзначай вскочившее в простую, подчас дикую натуру.

У аристократов красота наследственная, поддержанная и развитая условиями красивой жизни, а вот бывает, что и у мужика явится вдруг ни с того, ни с сего аристократический пошиб. Возьмите нашего Пырикова Абрама Ефимовича, ныне именуемого Архиповым. Какие иногда завороты кистью делает – что твой француз-парижанин, а сам деревенский мужичок. Чутье артистическое ему красоту подсказывает, а вот у меня, действительно, такого чутья нет, однако я не брошу искусства и, как не имеющий прекрасного голоса, не буду мечтать о пении, а постараюсь только правдиво рассказывать.

Мне один знатный портретист говорил, что он может писать хороший портрет только во фраке, а один музыкант вспоминал о композиторе Гайдне, который будто бы не мог придумать мелодии, если у него на руке не было бриллиантового кольца, подаренного ему Фридрихом Вторым.

Дело возможное, что они, чтобы выразить красоту в своих произведениях, должны были окружать себя всем красивым и, может быть, даже лизать бриллиант.

Ну, а я что должен смаковать, когда пишу тряпье, горшки, грязные сапоги? Или мне надо вертеться во фраке перед брюхатой Дарьей, с которой пишу уборщицу? Ни о какой красоте я тут не думаю, и если бы налощил рваный сапог так, чтоб он засверкал до ослепления глаз, то вы и любовались бы одним блеском, а о сапоге и о том, кто его таскает, позабыли бы.

Я не намерен размалевывать своих героев красавчиками, а приведу их, какими они есть, в ваше общество, расфуфыренное да надушенное, и скажу только: «Позвольте представить: граждане дальнеокольного тупика». Вы их выгнать из вашего лощеного общества не сможете, потому что они не пьяны, матерным словом

не ругаются, писаны на маковом масле, а только невидимо свой потный дух пускают, от которого вы новыми платочками отмахиваетесь.

И мне не нужно для моего персонажа милостыни или подачки, я буду доволен лишь появлением их в вашем благородном обществе, этим маленьким скандальчиком, а кто сможет и уразуметь их – пусть делает выводы. Поняли?

Когда мы, гости, в поздний час вышли от Ивана Петровича на безлюдный тупик, то почувствовали некоторое смущение.

Один из нас даже так выразился:

– А знаете ли? Не кажется ли вам, что он нам как бы на хвост наступил? В его обличении есть правда, хоть и сам он делает не так, как бы надо; в этом надо разобраться.

Тут мы услышали окрик Богданова; он остановил и догнал нас.

– Обождите, – начал запыхавшийся Иван Петрович, – я не сказал вам самого главного. За что вы на меня набросились? За то, что я мал, что таблице умножения народ поучаю? Но вы не замечаете того, что я есть воплощенное передвижничество, пусть хоть его слабой стороны, пусть хоть некоторый минус, но минус от большой величины, и во мне бродит все же закваска от хорошего в передвижничестве, а вы, гастрономы, не знаете, во что верить, и если еще осталось у вас что ценное, так это реализм в живописи, а остальное – рахат-лукум и тру-ля-ля в припляску.

Вон Пушкин о себе да обо мне золотые слова на своем памятнике начертил: «И долго будем мы с тобой любезны тем народу». Поймите: он да я, передвижник, будем любезны, а не вы, опустошенные!

Тут Иван Петрович так громко расхохотался, что на дровяном складе задремавший было сторож встряхнулся и забарабанил колотушкой.

На собрания передвижников, еженедельно проводившиеся в Училище живописи, Богданов являлся аккуратно к назначенному часу, в черном сюртуке, сорочке с крахмальным отложным воротничком, при хорошем галстуке. Вид у него был серьезный, деловой.

В начале собрания подавался обыкновенно чай с лимоном и печеньем. Завязывался разговор о делах Товарищества, или велась товарищеская беседа. Иван Петрович внимательно ко всему прислушивался, прищурив глаза и приставив руку к уху (с ним приключилась беда: постепенно он начал терять слух, и у каких только докторов ни лечился, никто ему не помог, недуг его, к большому огорчению, все прогрессировал). Иногда он вставлял свои замечания – коротко, но настойчиво. Если чего недопонимал

или собеседник говорил о чем-либо неосновательно, то Иван Петрович тыкал своим толстеньким пальцем в его грудь, и слышался его резкий голос:

– Ну да, это так, но что ж из этого? На веру все же нельзя принять, вы докажите, чтобы ясно было, а то так, здравствуйте: ни с того, ни с сего и вывод откуда-то взялся! Нет, нет, извините, так никак невозможно.

Отделаться общими словами от Богданова нельзя было. Он начинал пилить собеседника за всякое необоснованное слово, за ошибочное утверждение. И его за это даже прозвали пилой.

– Ну что же, – смеялся Иван Петрович, – пила и есть, и пилить до смерти буду, потому что нельзя бросать слова зря; за каждое слово человек отвечать должен, иначе – запилю!

И хохотал громко, заразительно.

Когда в конце собрания подавали ужин, Ивану Петровичу предстояла и здесь серьезная работа. Он внимательно рассматривал закуски, выбирал по свому вкусу, накладывал всего основательно и принимался работать крепкими челюстями так, что далеко было слышно, как хрустят косточки, если ему на зубы попадала птица. Покончив с одной закуской, он запивал ее рюмкой вина и с прежней сосредоточенностью принимался за последующее, не обращая внимания на шутки товарищей, наблюдавших за его едой.

К старшим товарищам, большим мастерам в искусстве, он относился с уважением и даже почтением.

Заговорит, бывало, Суриков – Иван Петрович насторожится, вытянется на полстола и не проронит ни одного слова, а потом говорит:

– Видишь, как выходит? Говорили все много, а позабылось, кто и что говорил, а слово Василия Ивановича мы все помним, потому что слово, как вера, без дел мертво есть, у Сурикова же за словом целая гора дел навалена. Вот ему и веришь, потому у него дела верные.

Однажды на собрании шел жаркий спор о различных направлениях в искусстве; одни ратовали за идею, другие противопоставляли ей форму, и, как всегда в этих спорах, никто никому ничего не мог доказать и никто никого не мог убедить.

Богданов хмурился, вставал с места, подходил вплотную к говорившим и прислушивался одним ухом, запоминая каждое слово из разговора. Потом заговорил со мной:

– Знаешь что? Приходи-ка завтра ко мне непременно; я хочу показать тебе, что я надумал писать, да поговорим и о сегодняшнем вечере; эти разговоры переварить надо, чтоб от них была польза.

Пришел я к Ивану Петровичу на другой день в сумерках, с некоторым опозданием, за что мне, конечно, досталось.

– Не люблю, – кипятился Богданов, – когда люди не приходят к назначенному времени, вот теперь придется показывать свой эскиз при лампе, и чай пил я в одиночестве.

На столе лежали неизменные огромные щипцы для сахара, лимон и колбаса с ситным хлебом. Скоро закипел на керосинке вновь налитый жестяной чайник.

– Я хотел сказать тебе вот что, – начал за чаем Иван Петрович, – не понравился, знаешь, мне вчерашний разговор на собрании.

Одни говорят, что в искусстве важно что писать, а другие – как писать. Выходит так, что тысячи лет писали люди и оставили нам прекрасные произведения, а не знали, что писать и как писать. Вот только сейчас это дело решается. И все под свое творчество теории да рецепты подводят, чтоб все у них выходило по их выдумкам. Вот уж действительно: собрались родители и обсуждают, какое им наследство на свет производить – блондинов или брюнетов, инженеров или поэтов. А природа с ними не советуется, и нарождается дите, каким оно по законам наследственности и другим причинам должно на свет появиться. Вот я, скажем, ношу во чреве своем некое новое произведение, и оно появится на свет именно таким, каким должно быть от моего организма, ума, чувства и всех условий, окружающих меня, – следовательно, и от тупика, где я пребываю.

Верно, говоришь? Ну, так давай выпьем еще чаю, а потом я доскажу остальное.

А колбаса важнецкая, что ни говори, и дешевле, чем в Охотном ряду.

Пришел сын Ивана Петровича, и ему сейчас же отец дал наставление, как надо содержать лампу:

– Вот видишь, – говорил Богданов, – проходил до сумерек, а лампу не оправил. Посмотри, как стекло мухи засидели, а от этого свет слабее и глаза портиться будут.

Сын, видимо, привык к нотациям отца и весело отзывался на все его слова. Иван Петрович хвалил и свою лампу.

– У меня, знаешь, свет лучше всякого там переменного и постоянного тока. Копоти от лампы никакой, а от электричества, что ни говори, глаза скоро болеть начинают.

После третьего стакана Иван Петрович скинул с себя пиджак и остался в одной синей рубахе с огромной заплатой на животе, нашитой, очевидно, собственноручно белыми суровыми нитками.

– Признаться, – сказал он, – я еще до твоего прихода три стакана опрокинул, и вот теперь в пот ударило. Сейчас в самый

раз в рубахе. Я в ней постоянно работаю: свободно, и не боишься костюм в краску измазать.

Теперь я продолжаю дальше о себе. Больше того, что у меня есть, я сказать ничего не смогу, однако это не мешает мне думать о своем верхнем чердаке, наполнять его всем, что может пригодиться в искусстве. И знаешь, я уже вот о чем подумал: может, я действительно надоел всем своими малыми темами, своими подмастерьями и чернорабочими? Я вот попробовал было за драму взяться, знаешь мою картину «Пробуждение». Ну и что же? Картина моя никого не тронула, а у меня не хватило силишек на драму, которую мог бы передать лишь такой психолог, как Репин. Значит, не следует мне брать задач не по силам. Сознаю, что и в живописи, в технике хромаю, дошел даже до того, что думаю: а следует ли щеголять перед обществом убожеством своих персонажей и вместе с ними и своим убожеством? Что толку в том, что, скажем, войду я в общество вот в этой рубахе с такой заплатой, в компании своих немытых мастеровых-тупиковцев и скажу: «Обратите внимание – нет у нас ни красы, ни радости, вот каковы мы!» Не пахнет ли тут одним цинизмом, потому что дальше нам сказать действительно нечего? Вот видишь, я тоже о себе раздумываю.

Говоря это, Иван Петрович ходил крепкой поступью по комнате, и когда оборачивался ко мне со своей латкой на рубахе, то действительно казался малоприемлемым в «большом свете».

– Теперь вот еще что, – продолжал Богданов, – попробовал я перейти на живопись и на настроение в картине. Вот эскиз: как видишь – зима, вечереет, на улице костер. К нему собрались погреться два школьника, извозчик и городовой. Всем им хочется тепла, всех оно объединяет, очеловечивает, добрит. Мальчуганы переживают простое радостное детское чувство от вспышек костра, извозчик с шуткой разминает свои застывшие члены, а городовой забыл, что ему следовало бы прикрикнуть на извозчика за то, что тот оставил лошадь. Как видишь, я не могу и тут обойтись без тенденции, но ты про нее забудь, а смотри и видь только сумерки, огонь и силуэты фигур на голубоватом снегу с оранжевыми пятнами на нем от костра.

Это вот эскиз, а как взялся я за картину, вижу – опять ничего не выходит, потому что здесь мастерство нужно, песня в красках, а я, сам знаешь, простой рассказчик. Заела меня тупиковская проза.

Как тут быть? Нельзя ли как-нибудь обновиться, натуру свою изменить? Меня звать Иван, а в сказке Иванушка-дурачок прыгнул в кипящий котел, а потом в холодный – и стал другим: молодцом хоть куда.

И вот я подумал: не махнуть ли мне в Париж, окунуться в

этот европейский кипящий котел искусства, а потом вернуться в холодную Россию-матушку и на себя в зеркало посмотреть? Авось в зеркале раскрасавцем Иваном-царевичем объявишься. – Богданов расхохотался. – У меня по балансу выходит, что капитала хватит в Париж съездить и на Москву потом еще немного останется. Так, значит, и по-твоему – махнуть надо?

Уже поздней ночью Иван Петрович провожал меня до большой улицы.

– Ты не бойся ходить по этим улицам во всякое время, – говорил он по дороге, – здесь грабителей не бывает, потому что грабить некого – все беднота; за двадцать лет со мной один только случай произошел такого рода. Иду я с товарищеского собрания около полуночи по этим местам, посмотрел у фонаря на часы и заметил, что за мной два паренька следят. Немного отошел – один из них меня за руку схватил: давай, говорит, часы!

Я, знаешь, чуточку толкнул его в грудь, он носом в снег, другой сам; отскочил. Посмотрел я на них: мелюзга, в одних пиджачках стоят, дрожат на холоде.

Показал им дубинку. «Эх, – говорю, – суетесь вы, ребята, без разбору на кого попало, а если б я вот эту штучку в оборот еще пустил, то от вас бы только мокренько стало». – «А ты кто будешь?» – спрашивает один. – «Художник», – говорю. – «Ну, так бы и сказал раньше, – говорит несчастный грабитель, – толкаться незачем было! Извини, товарищ».

И, знаешь, подошел и протянул мне руку. Как тебе понравится? От грабителя художник признание получил, а вот барин из тебя старается холуя сделать…

Ну а теперь – прощай, большая улица подошла, городовые торчат, попадается и извозчик. А насчет Парижа – дело решенное: махнуть, надо!

Иван Петрович сдержал слово: махнул в Париж, окунулся в этот котел европейский, насмотрелся там разных чудес и, возвратившись обратно, говорил мне:

– А меня – как зачала мать вот в этих тупиках, так, видно, здесь я и помирать буду. Ничего парижское ко мне не пристало, по зеркалу вижу, что царевичем не стал. Скажи на милость: у других красоту понимаю, а у себя не наведу. И все же из-за этого искусства не оставлю, потому что без него у меня жизни не будет. Я видел большое и прекрасное, но мое маленькое и бледное, как ни странно, осталось дорогим для меня. Я как бы насмотрелся на прекрасных, выхоленных и разодетых детей и потом увидел своего веснушчатого, в рваных ботинках сынишку, и он стал мне еще дороже.

Я украдкой любуюсь своей маленькой удачей в искусстве,

любуюсь тем, чего вы даже не подмечаете у меня. И в этом мое счастье.

Иногда свою работу показываю тупиковцам, и они над ней смеются. Что бы я ни показал, они надо всем смеются. Однажды написал я тяжелую сцену из их быта, и на нее услышал возглас: «Ага, прижучило!» – и смех. К горю они привыкли, а смеются от удовольствия, видя изображение, похожее на действительность. Они радостно любуются самим искусством, как удачным фокусом. И мне кажется, что они-то и есть самые верные ценители искусства, а не те, которые ищут, по какому поводу оно явилось. Этим я как бы отказываюсь от тенденции, вот ты и разгадай мою загадку.

Глухота у Богданова усиливалась, из-за нее он редко появлялся в обществе. При разговоре с ним приходилось почти кричать, и он, сознавая, как это тягостно для всех, старался избегать встреч и длинных бесед даже с близкими людьми. Все же, хоть изредка, заходил ко мне и делился своими переживаниями, в большинстве тяжелыми, так как началась империалистическая война и атмосфера была насыщена одними бедствиями.

Иван Петрович горячо отзывался на все события и все чаще и чаще поговаривал о дубинушке, которая одна, по его мнению, могла бы изменить положение в нашем государстве.

Работать дома не мог, только изредка уходил на этюды, чтобы, как говорил он, отвести душу от всякой пакости и освежиться среди природы.

Получил я от него открытку, пишет:

«Вот и весна, снег за Москвой сошел, завтра еду на день за город пописать этюды. Если хочешь – поедем вместе в 8 утра».

К назначенному времени я был у Богданова. Он с сыном, теперь, уже взрослым молодым человеком, пил чай. На столе лежал том сочинений Пушкина.

Настроение у Богданова было хорошее.

– Это правильно, – говорил он, – что и ты собрался на этюды, вместе оно, знаешь, веселее. А денек каков? Точно по заказу! Что ни говори – весна! Еще успеем к поезду, а сейчас выпьем чайку, да вот я тебе элегию Пушкина прочитаю. Хоть она и не по сезону, но от такой вещи и в эту погоду оторваться не могу. У людей вон бывают разные святые библии, а у меня Пушкин – вся всесвятая поэзия! Слушай:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино – печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.

Ну, что скажешь на это? Или конец:

И может быть – на мой закат печальный

Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Вот видишь: значит, жить надо и еще можно, потому – надежда есть, что, может быть, еще блеснет… Элегия, а в то же время она бодрит дух твой. Нет, ты понимаешь, как сказано? «Угасшее веселье… как смутное похмелье!» Вот то-то и есть, потому что – гений.

Собрались к отъезду. Иван Петрович перекинул через плечо широкий ремень от большого ящика с красками.

При выходе нам перегородил калитку, растопырив руки, охмелевший сапожник с первого этажа. Он, видимо, хотел что-то сказать и не находил слов. Богданов не утерпел, чтобы не попилить его:

– Макарыч, ты уже успел? А еще разумная голова! Сегодня праздник, ты бы лучше отдохнул, а завтра со свежей головой опять бы застучал по сапогам.

Макарыч оправдывался: – Иван Петрович, милый мой! Их не перестучишь – вот как перед Христом-богом! Понял?

Трое мальчишек, поставив вплотную ноги в рваных ботинках, старались перегородить и задержать грязный ручеек, бежавший из подворотни, а из прачечной шел пар от стирки, и слышалось пение нескольких слабых голосов.

Иван Петрович остановился и поднял вверх палец.

– Слышишь? Поют! Это прачки запели. Значит, не все еще песни перезабыли. Весна, брат, действует – ничего не поделаешь, небо-то, посмотри, голубое, ясное, облака плывут.

День был радостный, сияющий весной.

Радостно дребезжала пролетка, на которой мы ехали на станцию, радостно разносились свистки дачного паровоза по березовым рощам, просыпающимся от зимнего сна; веселые анекдоты рассказывали охотники в нашем поезде.

Не изменил нашего настроения и вид извозчика, нанятого нами на станции Ховрино, своей худобой олицетворявшего тогдашнее время великого поста. Даже вид экипажа, в котором нам предстояло ехать на этюды, не наводил нас на грустные размышления. Это была линейка, вероятно, видевшая бегство москвичей в двенадцатом году. Она вся была окутана проволокой и веревочками и ими только держалась, чтобы не рассыпаться. Расшатанные колеса ее виляли во все стороны. Зато запряжка была парная, хотя тащила нас кое-как одна коренная лошаденка с отвисшим животом. Пристяжная имела лишь кожу да кости и походила, скорее, на борзую собаку. Не надеясь на свои силы, она не пробовала даже натянуть постромки и бесполезно плелась

рядом с коренной.

Богданов спросил извозчика:

– Ну, для чего, скажи, пожалуйста, прицепил ты этого одра? От него никакой же пользы нет!

– И-и-и, милый человек, – отвечал извозчик, – а что ему дома без корма делать? Дай, думаю, хоть на вольном воздухе во свидетелях прогуляться.

Однако «свидетель» сумел потом сыграть над нами злую шутку.

Мы доехали до опушки леса, перед которой пролегал овраг с остатками снега, и отпустили извозчика с тем, чтобы он в сумерках вернулся и отвез нас на станцию.

Иван Петрович уселся на складном стуле и стал писать овраг с кусками тающего снега, я пристроился неподалеку у березняка. Слышно было, как за работой Богданов насвистывал песню, а иногда что-то кричал мне, указывая на тянущиеся в синеве неба вереницы журавлей.

Меняли места и писали весь день, и все время ласкало нас живительное солнце, а над землей колыхался волнами весенний пар.

И было легко и радостно. Но подошел вечерний час, солнце село, над березами потянул вальдшнеп. Погас и закат, на бледно-зеленом небе вырезался тонкий молодой месяц. Тогда за нами тихо, виляя колесами, подъехал древний экипаж со «свидетелем» у пристяжки.

Иван Петрович, довольный проведенным днем, работой, сел спиной ко мне с другой стороны линейки, шляпу сдвинул на затылок и то оборачивался ко мне, декламируя все ту же элегию Пушкина, то командовал извозчику, как надо ехать в наступивших сумерках. И выходило у него так:

– «Но, как вино – печаль давнишних дней…» Держи направо, тут косогор… «В моей душе…» Черт «свидетель», грязью обдал!

Затем он приподнялся, стал на подножку и, когда линейка начала спускаться в овраг, хотел продолжать стихи, но тут «свидетель» неожиданно прыгнул по-собачьи через ручей и так дернул за гнилые постромки, что они оборвались, линейка сильно покачнулась, и Богданов со своим ящиком вывалился в воду.

Не успели мы прийти к нему на помощь, как он сам выкарабкался на берег, таща в обеих руках развалившийся пополам этюдник.

Настроение у Богданова, конечно, изменилось, и когда мы очищали его от грязи, он уже ворчал:

– Вот тебе и элегия! У ящика петли оборвались, краски

высыпались и кисти уплыли. Ну это полгоря, лишь бы этюды не смазались. Да вот еще, оказывается, одной калоши нет! Лови ее теперь у Черного моря! А за калоши я недавно три рубля семьдесят пять копеек заплатил. Есть, конечно, и за два с четвертью, но то дрянь, подкладка жидкая. А все это анафема «свидетель» наделал! И на кой идол ты его с собой все еще таскаешь? – начал снова пилить Иван Петрович извозчика.

А тот только удивлялся:

– Скажи на милость: сколько ни возил господ, а того не было, чтоб он прыгал, а теперь – поди вот!..

Как бы то ни было, а вечер у нас омрачился, и сердца наши уже обволокла досада. А тут еще поезд опоздал, и Ивану Петровичу пришлось долго шлепать в одной калоше по платформе.

В вагоне, хотя он и значился «некурящим», стеной стоял ненавистный для Богданова табачный дым.

Кто-то нескладно тренькал на гитаре, а охотники рассказывали скабрезные анекдоты, в которых не было ничего ни радостного, ни остроумного.

Богданов спохватился:

– Как это я забыл сказать сыну, куда колбасу припрятал: не догадается посмотреть за форточку и ляжет голодным.

Еще новая досада.

С вокзала я завез Богданова на его квартиру. Внизу его дома слышен был женский плач и разговор нескольких голосов.

– Ну, так и есть, – объяснил Богданов, – и сегодня, значит, Макарыч жену побил. Человек тихий и, кажись, совестливый, а как праздник – выпьет и начнет жену трепать.

Я не зашел к Ивану Петровичу и поехал домой. Было уже очень поздно. Сейчас мне стали тягостными все мелочи тупика и жизни Богданова. Как все мелочно, безотрадно, мещански серо! Копеечные расчеты, удовлетворение нищетой без протеста, без желания радостного, лучшего! И пропади пропадом этот тупик, это отупение!

А потом подумал: а куда все же деваться всем этим тупиковпам? Что им делать?..

На другой день я снова приехал к Богданову, чтобы посмотреть последние его этюды, как обещал накануне. Они оказались не испорченными от катастрофы в дороге, и Иван Петрович горделиво говорил:

– Вот они, вчерашние, свеженькие! Смотри, что натворил! По оврагу и снегу вечерние теплые лучи скользят. Каково? Нет, брат, весна тут есть, что ни говори!

Только, видишь ли, сам я сознаю, что здесь надо было бы

сильнее взять, громче крикнуть, а у меня голоса не хватило, или тут – поэтичнее, но я не поэт, а протоколист. «С подлинным верно», и больше ничего. Да и то оказывается, что у поэтов и неправда вернее протокола.

Но что поделаешь? Ничего большего я из себя выжать не могу, я есмь, как есмь, и таким, видно, и останусь.

Но, повторяю, и то маленькое, что у меня есть, дает счастье маленьким людям, есть и у меня, чем поделиться. А ты как думаешь? Еще вот что скажу тебе: то, что меня придушило здесь, я скинуть с себя не могу, прошли мои годы, а доживать приходится вишь в какое время: война, ужасы…

Он еще хотел что-то говорить, но тут случилось чудо. Небо было затянуто тяжелыми тучами, а перед заходом солнца тучи, как веки у засыпающего человека, неожиданно раздвинулись, в щель между ними выглянуло лучистое красное солнце, точно всевидящее око. От него понеслись по земле каленые стрелы и зажгли все, что попадалось на их пути. Задрожали и заискрились не видимые до того стекла фонарей у железнодорожных стрелок, заалели серые тупиковские домишки, и сразу запылали пожаром их окна. Стрелы пронизали и стекла богдановской квартиры и превратили ее в сверкающий, радужный дворец. И все, что ни стояло в комнате, залилось феерическим светом; красные лучи дробились на фиолетовые, боролись с зелеными рефлексами, и вся гамма непостижимых тонов разливалась и наполняла жалкое жилище художника необычайной красочной симфонией.

Неузнаваемыми стали и этюды на стенах: они засветились волшебным светом и заиграли всеми отливами перламутра.

Залитый алыми лучами, с золотой теперь заплатой на рубахе, стоял среди комнаты торжествующий Иван Петрович. Подняв вверх указательный перст, он говорил:

– Смотри, смотри, каково в нашей стране бывает! Я об этом говорил! Вот оно, волшебство природы! Вот что надо в искусстве: торжество великого праздника! Одеяние из парчи и злата! Смотри, что делается: солнце жжет мой снег, горят воды! Да, да!.. Видишь «Пробуждение»? Видишь, как у девушки лицо запылало? Вот как бы ей жить надо, а не киснуть под жалкой березкой. И нам, чтоб сделать что великое, надо загореться вот таким огнем! Верно, брат, и я, малый человек, понимаю все это. Понимаю, а – не могу!

Но сжимались тяжелые веки туч и закрыли лучистое око. Оно погасло, и в комнате стало темно, а на дворе зашумел первый весенний дождь.

Больше мне не пришлось бывать в тупике. Наступили великие события, прокладывалась дорога шествующему социализму, и в

искусстве происходила переоценка ценностей. Пролетариат оказался не только не чуждым искусству, но проявил к нему необычайную чуткость и любовь. Деятели искусств получали признание и поддержку от народного Советского правительства. Среди них и малому художнику из тупика присуждена была пенсия, дававшая ему возможность существовать и работать.

Богданов чувствовал себя счастливым, несмотря на то, что почти совсем оглох, постарел и начал похварывать.
Но скоро и его счастью наступил конец: подошло время, и он оставил свое бедное обиталище навсегда.

Долго я не решался включить Богданова в свои «Воспоминания». Всегда возникал у меня вопрос: что и кому дал этот скромный, мало приметный на широком поле искусства художник? Для кого могут быть интересными в наши дни его произведения и с кем он поведет теперь разговор через них?

И вот в моей памяти возник эпизод, связанный с именем Богданова, разрешивший мои сомнения.

Мне пришлось быть в Третьяковской галерее, когда ее осматривала экскурсия рабочих-кожевников.

Подошли к двум картинам Богданова. На одной, под названием «Расчет», было изображено, как деревенский мужик пришел к кулаку за расчетом и в недоумении разводит руками: выходит так, что по счету кулака мужичку нечего и получать за свою работу. Кулак умело обсчитал мужика. Другая картина, «В ученье», представляла сцену, как пьяный сапожник обучает мальчика-подмастерья: наставительно подняв палец, пилит мальчугана и так грозит ему, что тот горько плачет.

Руководитель экскурсии давал такое пояснение картинам:

– Вот образец натуралистической школы, здесь художник, снабдив свое произведение узкой тенденцией, фотографически воспроизводит определенное явление, не заботясь о самом ценном в искусстве живописи – форме, которая сама по себе может служить основанием произведения. Голый факт еще ничего не говорит за себя.

Здесь заговорили между собой два рабочих.

– Ты, голова, слушай-ка, что тебе объясняют! – говорил один.

– Ну что ж, – отвечал другой, – это он верно решил, что факт в картине. Небось, и тебе приходилось за расчетом приходить, а тебя завтраками угощали либо просто в шею гнали.

– Нет, этого не случалось, а вот в ученье так действительно влетало. Хозяин тоже сапожник был и так же под пьяную руку начнет, бывало, со слов, а потом на ременный пояс перейдет, и еще, идол, старается так, чтоб по спине медная пряжка ложилась.

Оба рассмеялись.

– Факт, говоришь?

– Факт.

Потом еще постояли перед картинами, один вздохнул, и оба пошли в другую комнату, где руководитель продолжал свои объяснения:

– После обозрения явного упадка искусства передвижников, – слышался его голос, – от их натурализма перейдем к восприятию задач, поставленных художником в другой плоскости; вот, например, портрет дамы под названием «голубое с розовым».

Как восприняли рабочие «голубое с розовым» – не знаю, но теперь, при воспоминании об их разговоре, мне стало ясно, что и у Богданова есть свои люди, с которыми у него найдется общий язык в рассказе о днях прошедших.

Тени тех дней ярче выделяют радостно сверкающую действительность настоящего времени. И этот художник, вышедший из пролетариата, придавленный средой, с малым талантом, но глубокой жаждой к духовной культуре, – не есть ли звено той цепи, которая соединяла передвижничество с великой народной массой? И разве не тлела в нем искорка от искусства, которая в дни наши воспылала жарким огнем в среде трудящихся?

Так осознав Богданова, я радостно уделил ему место среди других ушедших товарищей-передвижников.

Примечания

Богданов Иван Петрович (1855–1932) – живописец-жанрист. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у И. М. Прянишникова и В. Е. Маковского, влияние которых впоследствии сказывалось на его жанровых картинах, рисующих тяжелую долю и бесправие бедноты в царской России («За расчетом», «Новичок» и др.). На передвижных выставках выступал с 1891 по 1923 г. (член Товарищества с 1895 г.). После Великой Октябрьской социалистической революции обращался в своих произведениях к темам советской современности («Ленин и рабочий»), вел педагогическую работу.

Улица оканчивалась тупиком… – Богданов всю жизнь прожил среди ремесленной бедноты, в районе, примыкавшем к Марьиной Роще, в конце тупиковой Переяславской улицы, упиравшейся в железнодорожные пути.

Щукинский музей — коллекция новейшей западноевропейской, главным образом французской, живописи, собранная московским купцом Сергеем Ивановичем Щукиным. После революции коллекция С. И. Щукина вместе с коллекцией И. А. Морозова послужила основой для организации Музея нового западного искусства, собрание которого впоследствии было передано Государственному Эрмитажу в Ленинграде и Музею изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.

Пыриков – под этой фамилией А. Е. Архипов выступал на ученических выставках Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

Картины И. П. Богданова *«За расчетом»* (1890), *«Новичок»* (« *В ученье* », 1893) находятся в Государственной Третьяковской галерее.